

Многие поклонники творчества Георгия Владимова, знакомые с его биографией поверхностно или не знакомые с нею вовсе, убеждены, что первым его опубликованным сочинением была повесть «Большая руда», с появления которой на страницах журнала «Новый мир» летом 1961 года и началась владимовская литературная известность. Однако это мнение ошибочно, поскольку «Большая руда» была отнюдь не первым опубликованным произведением Владимова — она была вторым. Первым — годом ранее — был рассказ под названием «Все мы достойны большего», публикация которого прошла совершенно незамеченной, но который, тем не менее, сыграл в творческой биографии Владимова-беллетриста роль той самой отправной точки, от которой и следует его биографию вести.

Как вспоминал Георгий Владимов без малого четыре десятилетия спустя, рассказ отражал настроение, владевшее им зимой 1959/1960 года, когда, уйдя со службы в редакции «Литературной газеты», он поселился в дачном посёлке на станции Шереметьево по Савёловской железной дороге, чтобы, изолировав себя от непрерывного московского шума и гама, в заснеженной тиши попытаться наконец «сделать свою игру» — попробовать стать писателем. Написав рассказ, Владимов предложил его редакциям обоих изданий, в которых до этого работал. Но и «Литературной газете», и журналу «Новый мир» он не глянулся, и начинающему литератору было отказано. Повезло ему в третьем, существенно менее привередливом издании — двухнедельном комсомольском журнале «Смена», где рассказ и был опубликован в июле того же 1960 года. Более при жизни автора ни в каких периодических изданиях он никогда не перепечатывался.

Рассказ «Все мы достойны большего» публикуется по тексту из 1-го тома собрания сочинений Георгия Владимова в четырёх томах, выпущенного в 1998 году московским коммерсантом и меценатом Борисом Гольдманом под маркой «одноразового» (то есть созданного специально для издания собрания сочинений Владимова) издательства «NFQ/2Print».

Павел Матвеев

Все мы достойны большего

В эту зиму выпало много снега. С тех пор, как Алёша перебрался жить в Шереметьевку, снег падал каждый день. Он опускался хлопьями, сыпал невидимой крупой, летел в конусе фонаря косою мерцающей сетью. И к февралю двоим на тропинке стало не разойтись, им приходилось обниматься, уступивший проваливался выше колена. За стенкой хозяйка объясняла соседке, что нынче перестали испытывать атомные бомбы, всё от этого, и сыпать будет до Троицы.

Алёша вставал, когда за окном ещё было сине, и выходил в сад обтираться колючим снегом. Но всегда кто-нибудь просыпался раньше — он видел свет в окошках, слышал скрежет шагов и сырые непроставшиеся голоса. Это спешили к электричке работавшие в Москве. Алёша тоже спешил, но о Москве старался не думать. После зарядки воздух в комнате казался ему слишком тёплым и кислым, — он распахивал форточку пошире, натягивал на горящее тело фланелевую ковбойку и принимался готовить на керогазе овсянку и кофе.

Он ел быстро и думал уже о другом. Потом он сдвигал посуду на край стола и, постелив газету, раскладывал на ней тетради и записные книжки, стопку линованной бумаги, ставил большую консервную банку — пепельницу — и вдвигался в стол вместе с табуретом. Он знал, что никто не придёт к нему и не будет писем. Иногда ему сильно хотелось того и другого, но он сам сделал всё, чтобы разыскать его мог только тот, кто очень захотел бы его видеть.

Так он сидел, не вставая, до часу дня, но в час отодвигался от стола и выходил пощупать снег — чтобы решить, какие мази положить сегодня. Потом возвращался в комнату и, достав из угла лыжи, развинчивал струбцину. Одну мазь из круглой коробочки он клал слоями на всю скользящую поверхность, другую — под пятку, и отдельно промазывал желобок. Напрягая плечо, так что оно становилось горячим, он растирал мазь пробкой и разглаживал до глянца ладонью.

Выставив лыжи на холод, чтоб затвердело, натягивал бумажный свитер, подвязывал брюки снизу верёвочками и надевал толстые ботинки.

Перед тем, как выйти, он сидел у окна и выкуривал сигарету. Это были минуты предвкушения. Он думал о том, как сегодня в лесу и какое будет скольжение. Потому что снег очень редко повторялся в зиму: он мог быть крупным и льдистым, как толчёная соль, или рассыпчатым и шелестящим, как крахмал, или он был с плоскими сухими блёстками кварца, которые с звенящим шорохом осыпались с кольца, а после оттепелей — ноздреватым и серым, как траченный молью бархат, и сильно царапал мазь. Но бывали дни, — за всё время он помнил два таких дня, — когда лыжи шли сами. Это бывало, когда пушистые хлопья опускались на жёстко раскатанную лыжню, и тогда исчезала всякая отдача. Стоило шевельнуть ногой или слегка оттолкнуться палкой, и лыжи скользили легко и беззвучно в этой снежной сметане. В такие дни он бегал не два часа, а три или больше — и не мог победить усталостью ощущение полёта.

У него было несколько разработанных маршрутов, километров по двадцати, и все они начинались с того, что он ещё у крыльца защёлкивал дужки креплений, отбрасывал палкой калитку и, понемногу раскатываясь, проезжал по улице. В нескольких окнах приподнимались занавески, и всякий раз Алёша смутно чувствовал себя бездельником. За угловым забором его ожидала собака. Он жил здесь уже два месяца, но каждый раз при его приближении она уже мчалась к забору, косолапо взрывая снег, с оглушительным медным лаем. Он любовался её остервенело наморщенным носом и чёрно-лиловой пастью с жемчужными клыками. В её злобе было что-то глубоко личное, точно он утопил её щенков или вынашивал замысел подпалить будку.

Но вот он сворачивал в глухой переулочек и сразу въезжал в лес — в запахи мёрзлой хвои, смолы и снега. Он напоминал Алёше запах свеженакрахмаленной сорочки, только чуть кисловатый и терпкий. Шереметьевка не была «Меккой лыжников», как Подрезково или Опалиха, сюда они приезжали только по воскресеньям. Тогда лес наполнялся визгами и ярмарочной пестротой костюмов. Алёша не любил эти дни и этих лыжников, они были слишком экипированы, чтобы быть хорошими лыжниками. Они раскатывали несколько новых лыжней, но сами же их и портили, когда ходили по ним, сняв лыжи и держа их на плече. Он тихо ненавидел тех кретинов, которые ходят по лыжне без лыж, хотел понять таинственный ход их мысли. Но нет, это было непостижимо.

Он бежал густым молодым ельником, слыша только скрип и хлопанье своих лыж, толчки палок в сугробе и своё дыхание. Потом начался высокий бор, с золотистыми стволами и тёмными кронами. С веток срывались вдруг охапки снега, блёстки медленно оседали, и ветка долго ещё потом качалась. Тогда казалось, что кроме Алёши ещё кто-то есть в лесу. Но он знал, что никого нет, только иногда очень низко пролетали самолёты. Их тени быстро скользили между деревьями и по ветвям, и в лесу начиналась обильная осыпь.

Лыжня впадала в берёзовую аллею, — здесь кончался сумрак, и впереди виделось поле, пересечённое дорогой, и бегущие по ней машины. Алёша выбегал из лесу, и сразу на него набрасывался ветер, обжигал ему щеку и мочку уха, не прикрытую шапочкой. Лыжня делала огромную петлю, упиралась в снежный вал, оттиснутый бульдозерами, и бежала рядом с дорогой, вместе с нею огибая лётное поле. Поверх вала видны были две широкие взлётно-посадочные полосы, пропадавшие в дымчатой дали, и белые туловища самолётов, уткнувшихся носами в густой сизый лесок.

На круглой площади перед аэровокзалом Алёша снимал лыжи и входил с ними в тесный буфет. Уже стало привычкой выпить здесь молока из запотевшего стакана или пива — смотря по тому, какой был снег. В буфете было накурено, пролитое пиво блестело на круглых столиках, с покрытием из пластика «под мрамор». Здесь перекусывали наспех аэродромные механики, подолгу сидели мужики из окрестных посёлков и деревень, часто с корзинами и мешками около

ноги, заходили шофера — спросить «полтора ружья» — и буфетчица ставила им на стойку по сто пятьдесят «Охотничьей». Пилоты и стюардессы сюда не ходили, у них было своё прибежище наверху.

В окно видна была треть гигантского крыла с гондолой двигателя и половина корпуса. Отсюда казалось, что самолёт стоит на привязи у ограды перрона и не может сам развернуться. Он не принадлежал земле, он хотел в небо и мучительно ждал, когда же люди наедятся, накурятся, наговорятся и выйдут помочь ему. Призыв был так явственен и красноречив, что Алёша ему подчинился и выходил, едва допив своё из стакана.

Он любил провожать самолёты. Это входило в программу ежедневных его пробегов — постоять на перроне, в нешироком пространстве для провожающих, между вокзалом и стальной низкой оградкой. Ему нравилось думать, что и он когда-нибудь полетит. Это было похоже на подзарядку аккумуляторов.

В этот день на поле было несколько старых машин, на которых никто особенно не смотрел, и два новейших четырёхмоторных лайнера. Длинные керосиновые ползали у них под крыльями, поили из толстой гофрированной кишки, а люди расхаживали по крылу, открывали и закрывали какие-то лючки, и уборщица в синем комбинезоне стирала пыль тряпкой, навёрнутой на обыкновенную метлу. Лайнеры стояли покорно, вытянув подслеповатые рыла и задрав к небу хвосты, острые, как плавник акулы.

Чей-то голос, за спиною Алёши, лениво спросил:

— Наш какой, ближний?

Он обернулся и увидел трёх молодых людей в модных широких пальто с поясами, в тёмно-коричневых пушистых ушанках, в белых фетровых бурках. Всё, что было на них, не покупалось нигде, оно доставалось.

— Нет, — ответил второй. — Наш дальний.

Третий молчал, покусывая маленькую губу и заложив руки за спину. У него был уверенный взгляд доброжелательных тёмных глаз и лицо человека, который не позволяет себе ошибаться и делать что бы то ни было лишнее. На самолёты он смотрел, как смотрят на дрожки или такси, поданные к подъезду, сказать вернее — на персональную машину с личным шофёром.

— Какими судьбами? — спросил рядом, у Алёшиного плеча, женский голос, и тотчас его взяли под руку. Ещё прежде, чем он узнал этот голос, он почувствовал, как стало жарко лицу. Как будто его застигли на чём-то не слишком пристойном. Вот уж кому он меньше всего хотел попасться на глаза, и не попался бы, если б не загляделся на этих троих. — Почему ты здесь?

Она была в серой шубке и такой же шапочке и без чемодана или сумки, как будто провожала кого-то, но могло быть, что её багаж отвезли к самолёту на транспортёре.

— Исчез! — сказала она с упрёком. — Не показываешься. Что случилось?

— Да так... Что могло случиться?

Она стала рядом, он слышал щекой её дыхание. Те трое смотрели на неё в упор, как можно смотреть лишь на свою знакомую. Оказывается, она была с ними.

— Борис! — позвала она. — Познакомься, пожалуйста. Это мой старинный друг. Сто лет назад мы с ним учились вместе.

Борис — тот третий — подошёл, снимая кожаную перчатку на меху, и поднял к Алёше спокойно-внимательное лицо. Таким же точно взглядом он смотрел на самолёты.

— Очень приятно, — сказал он. — Весьма рад.

Он ждал, что его о чём-нибудь спросят.

— Я побуду здесь, — сказала она. Неуловимо в её словах прозвучала просьба отойти.

— Ничего не имею против, — сказал Борис. — Только поправь шарфик, ещё простудишься, не долетев до Сибири. Где это гораздо удобнее.

Он сам поправил ей шарфик, в этом не нуждавшийся, и отошёл, кивнув.

— Я не знал, что ты вышла замуж, — сказал Алёша. — Тебя можно поздравить?

Она слегка смутилась.

— Я ещё не вышла. Это не так быстро делается. А ты работаешь? Придумалось что-нибудь?

Он, усмехаясь, провёл рукою по лыжам, пряча от неё взгляд.

— Что я могу придумать... За всю историю человечества люди, наверно, не придумали ничего лучшего, чем вот эти две планки из дерева и палки с кольцами. Это я говорю тебе по опыту.

— Я знаю. Ты всегда говоришь по опыту. Очень богатому, но несколько однообразному. Почему-то всегда застаю тебя в середине пути, никогда — в победоносном конце. А деньги у тебя есть?

— При себе — нет, конечно. Была вот трёшка, да вышла. А сколько тебе нужно?

Она посмотрела долгим и косым ироническим взглядом и вытянула из рукава тонкую руку с крохотными часиками.

— У нас ещё полчаса до посадки. Пройдёмся?

Они прошли немного и стали у перил. Алёша счистил снег варежкой, но она не рискнула прислониться, только положила руки. В перчатках они казались ещё меньше, чем были.

— И куда же вы путь держите? — спросил Алёша.

— В Иркутск. А оттуда в Братск. Шеф посылает на два месяца. Дадим совместные репортажи, с продолжениями, какие-нибудь очерки о героях...



— Там интересно, должно быть.

— А ты хотел бы слетать? Это можно устроить.

Он дёрнул плечом.

— Я не о себе говорю, у меня — своё.

— Счастлив ты. Ну, а у меня своего нет. Просто захотелось романтики, куда-то лететь. Как-то скучно стало в Москве... без некоторых. Скажу честно.

Этих «некоторых» он как бы не расслышал или не отнёс к себе и заметил:

— Ты изменилась. Немножко.

— К худшему?

— Скорее наоборот.

Она повернула голову — так, чтоб он мог рассмотреть короткую стрижку и перламутровую клипсу.

— Так модно теперь? — спросил он. Свинством было бы не спросить.

— Угу. Это называется «мальчик без мамы». Хорошо?

— Очень здорово. И тебе идёт серое. Ты становишься деловой женщиной.

— Алёшка! — вырвалось у неё печально. — Ведь и твои годы уходят. Сколько бы вы, мужики, ни петушились, а тоже ведёте счёт годам.

— Даже больше. Счёт ведём — дням.

Этот намёк на что-то решающее она уловила.

— Хочешь сказать: вступил в «пусковой период»? Какой по счёту?

Он промолчал.

— Что же мешает тебе? — спросила она. — Почему не живёшь, как все другие?

Он видел её профиль, опущенный светом зимнего солнца. Она повернулась, и свет проник сквозь ресницы и таял в глубине её зрачка, а белок был блестящим и светло-оранжевым. Он вспомнил, как он впервые уходил от неё на рассвете, чтобы не доставлять радости соседям, но ворота были ещё закрыты, и он стоял в глубоком колодце двора, задрав голову, глядя на её распахнутое по-летнему окно на третьем этаже, страстно желая, чтоб она выглянула. Она выглянула, смеющаяся и сонная, и бросила ему кусок булки, сказав беззвучно, преувеличенно растягивая губы: «Чтобы ты не умер с голоду, бедненький...» Он послал ей воздушный поцелуй и полез на ворота с булкой в зубах. Он был счастлив тогда, и дворники на него не свистели. Он вспомнил это и заставил себя отвести взгляд — туда, где пёстрая вереница отлетающих, растягиваясь по полю, шла под матово-серебристое брюхо лайнера.

— Я живу, как все, — сказал Алёша. — Мне ничего больше не нужно.

— Но ты же бедствуешь! Скажи правду, бедствуешь?

— Ну, это не совсем так. На сигареты хватает. И даже ещё остаётся на пиво. И лыжи не скоро ещё износятся.

— Ты кроме лыж, — спросила она, — и кроме своих дерзновенных замыслов, ещё о чём-нибудь способен задуматься?

— О чём-нибудь — это значит о тебе?

— Хотелось бы, не скрою.

— Да, — сказал он честно. — Мне очень не хватает тебя. Но я не люблю, когда меня оплакивают.

— И поэтому исчез?

— Ты могла бы меня найти, если бы очень захотела.

— А я не привыкла искать, — сказала она с лёгким раздражением и надменно. — Я привыкла, чтобы меня искали.

— Танечка! — тотчас, как в подтверждение, позвали её от дверей вокзала. Там стоял Борис. Он что-то жевал и держал кусок двумя пальцами на отлёте. — Не желаешь присоединиться? Обнаружены приличные злаки и совсем не плохая жидкость. Вас, — обратился он к Алёше, — тоже приглашаем. Хотя вы на лыжах.

Это «хотя» неуловимо отменяло приглашение.

— Событьльничайте одни, — сказала она.

— Не слышу!

Она слегка нахмурилась и сказала с нажимом в голосе:

— Я побуду здесь!

Он согласно кивнул и ушёл.

— Я звонила в наш институт, — сказала она, помолчав. — Петровский мне сообщил, что ты сменил кафедру на заочную, будто бы подрабатываешь на заводе. Зачем ты это сделал, Алёшка? Тебе же было там неплохо и не так много времени отнимало.

— Что ещё сказал Петровский? — спросил Алёша.

— Что он сомневается, вытянешь ли ты кандидатскую. А ведь это последний, кто в тебя верил.

— Не совсем точно, — сказал Алёша. — Последний — это я.

— А я? — спросила она. — Но это же всё равно, что верить в сумасшедшего. Надеюсь, ты всё-таки не порвёшь совсем с аспирантурой?

— Аспирантура — бог с ней. Тем более заочная. Но в полном вакууме жить нельзя, это ты верно, старуха...

— Почему же ты всё бросил?

— Я ничего не бросал, — сказал он устало, глядя, как разгоняются винты самолёта. — Я ни одного своего корабля не сжёл, я к ним вернусь. Но не сейчас. Придёт время.

Турбины лайнера взвыли со свистом, струнули его с места, и, развернувшись, он потащился к взлётной полосе. Он полз, пошатываясь, и что-то в нём напоминало орла, бредущего по камням, — одновременно сила и беспомощность.

— Ты напал на жилу? — спросила она.

— Что-то вроде этого, — ответил он не сразу. — Скорее, она на меня напала.

— И хоть кому-нибудь ты показывал, над чем ты сейчас?..

— Видишь ли, — перебил он, — я могу морочить только собственную голову.

Когда у меня будет пятьдесят один процент уверенности, тогда другое дело. Но пока ещё нет и двадцати.

— Жалко... А я всё жду, когда наконец смогу написать и о тебе. Как о новом явлении.

Он рассмеялся тихим смехом.

— Ну, что обо мне напишешь! Я всего-навсего запланированная единица потерь. Таких фортуна швыряет пригоршнями, как игральные кости. Из десяти семеро сгорят вхолостую, двое увидят робкие всходы. Ну, а один, глядишь, чего-нибудь и пожнёт.

— И ты надеешься быть этим одним?

— Я просто хочу быть в этой десятке.

— Но ты же достоин большего!

— Пойди объяви это всем отлетающим, — сказал он, усмехаясь. — Они скажут: «Мы тоже достойны большего!» Я, ты, он, она, оно — все мы достойны большего.

— А как примерно выглядит то, что ты делаешь?

— Ну, если я скажу... Что ты из этого поймёшь?

— Почему же нет? — она шутливо обиделась. — Мы с тобой оба заняты не тем, чему учились. Но и я ведь была когда-то не чужда...

— Танька! — взмолился он. — Давай о чём-нибудь другом...

Репродуктор на вышке звучно всхрапнул и объявил металлическим контрольно посадку на Иркутск.

— Это нам, — вздохнула она.

«Скоро всё кончится, — подумал он. — Ещё несколько минут, и всё кончится».

— Вот, Алёша... Вот я и улетаю от тебя.

— Что же мне пожелать тебе?

Те трое вышли из вокзала, со сдвинутыми на затылок ушанками. Они были оживлены и бросали окурки в снег, присыпанный песком и шлаком. Дежурная смотрела на них осуждающе, но почему-то не решалась сделать замечание.

— Танечка, мы пошли! — крикнул Борис. Он встретился глазами с Алёшей и приложил два пальца к меху ушанки. — Надеюсь, вы не надолго её задержите?

— Да нет, — ответил Алёша. — Надолго у меня не выйдет.

— Будьте здоровы, — сказал Борис.

— И вы тоже, — ответил Алёша.

Он смотрел, не отрываясь, в затылок, аккуратно укутанный пушистым шарфом. Но это был один из тех затылков, которые не чувствуют взгляда.

— Что же ты пожелаешь мне? — спросила она. — Впрочем, это я должна тебе пожелать. Это я тебя оставляю — таким, какой ты есть.

Она уже вся была там, с ними, у трапа, только её тёплая рука, тёплая даже сквозь перчатку, случайно задержалась в его ладони. Поняв, что ещё минута и они навсегда расстанутся, думая только об этом и больше ни о чём, он притянул её к себе и зарылся обветренным, одеревеневшим лицом в её волосы. Он услышал знакомый запах этих волос, и на короткий миг ему представилось, как бы они сейчас вместе, вдвоём, вернулись к нему в Шереметьевку, но тут же он понял, что этого быть не могло никак, никогда, об этом и мечтать запретно, и сжал её в объятиях. За спиной его с грохотом упали лыжи. Она отпрянула, но он держал крепко и поцеловал в губы — поцелуем старинного друга, очень, очень старинного. По крайней мере, он хотел бы, чтоб так это выглядело со стороны. И чтобы она это так и поняла.

— Алёшка! — закричала она шепотом. — Ты подумал обо мне?

— Я только о тебе и думаю. Просто хотел ему показать, что ты тоже достойна большего.

— Но тебе же дела нет до наших с ним...

— Не кричи, — попросил он тихо. — Есть же хороший выход. Очень старый и вечно юный. Дать по морде. Но только это нужно делать сразу.

Она уперлась руками ему в грудь, но он уже отпустил её, почувствовав, как безнадежно упало сердце. Она быстро поправила сбившиеся волосы, глубоко вздохнув и кривя губы, как от боли. Он хотел найти её некрасивой, неловкой, но это слишком ранило самолюбие. Он слишком привык считать её самой лучшей. Она и теперь была самой лучшей — всё это время, пока он её обнимал, ни разу не посмотрела в сторону самолёта. Даже безотчётного движения не сделала.

— Пойми, дурачок, — сказала она, касаясь его руки. — Всё можно изменить, даже вот сейчас, в последнюю минуту. Но если б ты хоть слово мне дал... Что не будешь мальчишкой, не знающим жизни и никого не желающим слушать. Ведь я тебе добра желаю!

Вдруг стало печально и пусто в душе. Он пытался убедить себя, что всего, что было у них, не могло быть у других, но в это сейчас слабо верилось. Единственное, что знал он наверняка, — что жалеют и в том, и в другом случае: и когда было впрямь, и когда могло быть, но не состоялось.

— Пойдём, — сказал он. И, наклонясь, подобрал лыжи. — Тебе пора.

— И ты так ничего мне не скажешь?

— Всё то же.

Несколько секунд она молчала. У неё задрожали ноздри и влажно заблестели глаза.

— Не думай, я не заплачу.

— Я знаю, — сказал он мягко. — Я тебя за это уважаю.

Молча они прошли эти несколько шагов, мимо толпы провожающих, милиции, носильщиков, дежурных, которые расплывались в его глазах движущимися пятнами. У выхода на поле она спросила:

— Ты напишешь мне? На почтамт.

— Обязательно, — ответил он твёрдо. Так же твёрдо он знал, что никогда этого не сделает. — И ты мне напиши. Смотри, уже пора. Сейчас уберут трап.

Он смотрел, как она идёт — одна по опустевшему полю. Так идут, ожидая пули в затылок или страстной мольбы вернуться. Ему показалось странным, что в его власти сделать так, чтобы тяжёлый лайнер прыгнул в морозное небо без неё. Он подумал, что всё может случиться, все эти игры с небом — бесконечная лотерея с несколькими несчастливыми билетами, и он век себе не простит. Но тут же он высмеял себя: «Ничего-то от тебя не зависело. Кто хочет остаться, тот остаётся и никаких обещаний не требует...»

У трапа она обернулась и помахала рукой. Он знал, что она близорука, и всё же помахал в ответ. Трап отвезли, и стали вращаться лопасти одного из двигателей. Вскоре они стали неразличимы по отдельности, слились в один сверкающий диск, и воздух под крылом задрожал, взвилась снежная пыль. Тогда начал раскрутку второй двигатель.

Алёша вышел на площадь и стал на лыжи. Он хотел добраться до леса раньше, чем самолёт успеет взлететь. Он бежал, стараясь дышать ртом, чтобы не так сжимало горло, и несколько раз останавливался поесть снега, чтоб проглотить тяжёлый комок. И он не успел добраться до леса. Он увидел, как движется смерч пыли по взлётной полосе, и из сверкающей пыли взмыла гигантская серебристая птица. Она дождалась своего и теперь торжествующе, трубно, утробно ревела, медленно поджимая уже ей не нужные слабые ноги.

Одиноким лыжник бежал через поле, и над ним, над самой его головой, пронёсся огромный лайнер, оглушив его и накрыв крестообразной лиловой тенью. Лыжник поднял голову и увидел длинный ряд круглых окошек вдоль фюзеляжа. «Она смотрит, — подумал он. — И, должно быть, кажусь я ей тараканом, ползущим по листу ватмана. А пожалуй, так ей легче прощаться».

У леса он остановился и вытер рукавом мокрое лицо. Лесная тишина успокоила его. Лыжня была синей перед закатом, а по бровкам её лежали тёплые оранжевые блики. Он взглянул на солнце, висевшее низко в зелёном небе, и, свернув,

побежал кратчайшим путём, который привёл его к маленькому кладбищу, при- таившемуся неподалёку от посёлка, в тени развесистых тяжёлых крон. На трёх крайних могилах стояли пирамидки с привинченными наискось пропеллерами. Под ними приклепаны были фотографии на фарфоровых щитках; три молодых лица сияли белозубыми улыбками в лицо Алёше. Глядя на эти лица, хотелось сказать себе: «Спешите!» — и расхолаживающе думалось всё о той же лотерее с несчастливыми билетами.

«До лета надо хоть половину сделать, — сказал он себе. — А там перерыв: что-нибудь грузить, таскать ящики. Главное, чтоб голова была свободна. И ничего больше! Ну, лыжи зимой, без этого не обойтись».

Он стоял на верху длинного и прямого спуска и думал о том, как вернётся в Шереметьевку и одуревшая от скуки собака бросится с бешеным лаем на забор, а в окна приподнимутся занавески, а потом надо будет готовить суп из концентрата — один брикет на четыре тарелки. И поспать немного, чтоб было второе утро и легче работалось за полночь.

И день этот будет так же похож на вчерашний, как и на завтрашний.

Лыжник сильно и далеко оттолкнулся палками и помчался по склону вниз. Где-то на середине его он понял, что всё сегодняшнее останется в нём как выбор, которым всегда он будет гордиться — и всегда жалеть о нём. И, круто повернув вниз, подняв фонтан радужной пыли, исчез в этой пыли, за поворотом, в деревьях.